

ВСЕВОЛОД
КРЕСТОВСКИЙ



Петербургские
трущобы

Том II



МОСКВА
2023

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆

ВСЕВОЛОД
КРЕСТОВСКИЙ



Петербургские
трущобы

Том II



МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
К80

Оформление серии *Н. Ярусовой*

Крестовский, Всеволод Владимирович.

К80 Петербургские трущобы. Том II / Всеволод Крестовский. — Москва : Эксмо, 2025. — 608 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-187187-1

Всеволод Владимирович Крестовский (1840 –1895) — писатель и литературный критик, одаренный рассказчик и журналист.

Роман «Петербургские трущобы» — бестселлер русской литературы, одно из первых обращений к криминальному миру. Читайте о Петербурге XIX века с его ослепительными дворцами и набережными, грязными подворотнями, ночлежками и тюрьмами. В авантюрном сюжете мастерски переплелись судьбы героев разных социальных групп: князей и дам высшего света, развратных женщин, воров и убийц.

По мотивам романа сняли сериал «Петербургские тайны» (1994–1998).

**УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44**

ISBN 978-5-04-187187-1

© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2025



Заключенники

Часть четвертая
(продолжение)

LXV

ФАБРИКА ТЕМНЫХ БУМАЖЕК

В сенях Устиньи Самсоновны находилась, от полу до потолка, сплошная перегородка, имевшая вид дощатой стены. Четыре доски этой перегородки задвигались за остальные четыре, по той же самой системе, как в иных магазинах стеклянные рамы у витрин. Отодвижные доски служили потайной дверью в темный тайничок, где, собственно, и крылась важнейшая суть хлыстовского приюта. Пол этого тайничка подымался на скрытых петлях, в виде люка, и открывал под собою деревянную лестницу, которая вела в подызбище, где постоянно господствовала непроницаемая темнота. Однажды в сутки Устинья Самсоновна зажигала восковую свечу и спускалась в это подполье. Там таилась хлыстовская молельня. Помещение было довольно просторное, земляной пол весьма плотно утрамбован; стены, служившие фундаментом самой избы, сложены из плитняка известкового и имели с лишком сажень вышины. По стенам стояли скамьи, а в переднем углу была прилажена большая полка, и на ней, между двумя канделябрами, помещались четыре намалеванных образа хлыстовской секты: посередине, в виде Саваофа, изображен был вышний гость Данило Филиппович, вправо от него — стародубский богочеловек спаситель Иван Тимофеевич, а по левой стороне — лик «богородицы», матери Ивана Тимофеевича — Ирины Нестеровой. Этот последний образ представлял древнюю старуху, написанную в виде известного православного Знамения пресвятой богородицы. Далее виднелся еще один женский лик, называемый «богиней» или «дочерью бога».

Устинья Самсоновна зажигала канделябры, вздувала уголек в ручной медной кадилнице и начинала свое «моление»: «Дай к нам Господи, дай Иисуса Христа!»

Это подызбище было перегороджено на две половины: большую, где, собственно, и находилась молельня, и малую, представлявшую комнатку сажени в две длиною и около сажени в ширину. В этой последней совершались «переоболоченья» братий, то есть переодеванья перед началом общих «радений», с которыми впоследствии познакомится читатель. Тут же к одному боку была прилажена небольшая железная печь, доставлявшая в зимнюю пору достаточное количество тепла на целое подызбище. И вот в этом-то малом отделении хлыстовской молельни в одно утро появилась, обок с железною печкой, еще одна, тоже железная, небольшая химическая печь,

которую с помощью Фомки-блаженного приладили здесь Негг Катцель и граф Каллаш. Все необходимые материалы переправлялись сюда посредством Фомушки и самих членов, день за день, почти незаметно, в разную пору дня и ночи, и притом разными путями, и проносились порознь, то разобранные по составным своим частям, то упакованные в какой-нибудь ящик, дорожный саквояж и тому подобное. Эта переноска заняла более двух недель времени, и таким образом исподволь и мало-помалу все увеличивалось тут количество весьма разнообразных предметов, которые обратили наконец подземную комнату в маленькую химическую лабораторию. Тут стал рабочий стол с химическими весами посредине, заставленный разными фарфоровыми ступками, пробирными трубочками, лампой Берцелиуса и тому подобными предметами; на полках поместились реторты да колбы и ящик с анилиновыми красками; другой угол заняли пресс, вальки для накатывания этих красок и литографские камни, а за ними — изящная прочная шкатулка с секретом хранила в себе металлические плитки с выгравированными на них изображениями русских кредитных билетов, начиная с трех- и кончая сторублевым достоинством. От одной стены до другой протянулись тонкие шнуручки, на которых должны были просушиваться приуроченные бумажки, и посреди всех этих предметов, как некий маг и волшебник, предстоял доктор Катцель в серой блузе и красной феске, то вычисляя на грифельной доске эквиваленты, то с глубоким, сосредоточенным вниманием следя за реактивом какого-нибудь состава; наблюдал осадки или растирал в ступке необходимую ему краску. Доктор не решался сразу приступить к выделке ассигнаций — он все выискивал и добивался таких результатов, которые устраняли бы всякое подозрение в фальши его произведений, и потому долгое время занимался одними только исследованиями красок и составов, стараясь в то же время довести бумагу до того вида и свойства, каким отличаются неподдельные русские кредитки. Часто даже по целым суткам и более он безвыходно оставался в своей лаборатории, упорно преследуя свою цель, забывал и сон, и пищу, терял даже потребность в свежем воздухе, пока наконец в голову не начинал ударять страшный прилив крови и организм изнемогал от столь долгого напряжения. Тогда Катцель переодевался в обычное платье и, послав предварительно либо Устинью Самсоновну, либо Паисия Логиныча оглядеть местность — нет ли там лишнего прохожего народу, — выходил на свежий воздух и пробирался к своей городской квартире, стараясь избирать по возможности различные пути для того, чтобы не примелькалась кому-нибудь его физиономия, что могло бы, пожалуй, случиться при путешествии постоянно одной и той же дорогой. Три-четыре дня отдыха придавали доктору новые силы, с запасом которых он снова спускался в свою подземную лабораторию. Остальные члены, то порознь, то вместе, посещали его раз в неделю и приносили с

собою добрый запасец красного вина, которым обер-фабрикант в минуты усталости подкреплял свои силы.

Обитатели огородной избы благодаря Фомушке познакомились и даже сблизились настолько с членами будущего темного банка, насколько являлось это необходимостью при деле, которое производилось с их ведома и притом в их собственном доме. Устинья Самсоновна при встрече своих гостей каждый раз не переставала сердобольно обращаться к ним с вопросами: «Что же, батюшки-братцы, скоро ль гонение-то на нас будет? Поскорей бы хотелось!» Или осведомлялась, когда именно думают они семя антихристово рассеять по лицу земли. Старец Паисий в этих случаях больше все помалчивал, только улыбался им с великим благодушием да отвечивал поклон, исполненный большого достоинства.

Между тем одно время Фомушка совсем исчез куда-то и очень долго не показывался ни у графа Каллаша, ни в избе Устиньи Самсоновны. Обстоятельство это немало-таки озаботило графа, ибо Фомушка был для него весьма нужным подспорьем в затеянном деле, как известно уже читателю. И только впоследствии было узнано, что раб Божий Фома обретается в тюремном замке, по подозрению в краже. Время этого отсутствия совпадало с его арестом. Каким образом мог приключиться с Фомушкой такой неладный фокус, граф Каллаш не мог себе в точности представить, потому что Фомушка, в ожидании будущих благ, получал от него по мелочам весьма изрядное количество денег, которых вполне хватило бы для него, чтобы жить не нуждаючись и даже с некоторой, возможной для него, роскошью.

— Мой милый граф, — рассудительно возразил ему однажды Катцель, когда тот развил перед ним подобные соображения свои касательно Фомушки, — мы с вами имеем, конечно, средства, чтобы жить не нуждаючись и даже с невозможной для нас роскошью, и однако ж... однако ж мы продолжаем мошенничать, из желания иметь как можно больше, чтобы жить еще роскошнее. То же самое и ваш милый Фомушка, которого я вполне уважаю.

— Такова уже натура, и против натуры не пойдешь! — заключил Негг Катцель.

И он был прав. Действительно, такова уже была у Фомушки натура, что отказать от одного мошенничества ради другого он чувствовал себя не в состоянии. Ему бы хотелось обоим разом предаваться. Видит он, что дело с бумажками еще только подготавливается, что заработки от него принадлежат пока будущему, и думает: «Что же я стану задаром время-то золотое терять?» И поэтому отнюдь не терял его даром. Хотя он и точно получал от графа порядочные деньжишки, однако подобного рода получения как-то мало удовлетворяли блаженного. «Это что за деньги! — размышлял он порою. — Это все равно что ты их на улице нашел: сами собою, задаром в твой карман приплывают. Это, по-настоящему, не деньги,

а вот деньги, которые ты сам своей сметкой, своими мозгами да своими руками добудешь себе — ну, тут уж выйдет статья иная!» Старые привычки брали-таки свою силу над Фомушкой-блаженным. Бесшабашная, пройдошная натура его не могла помириться с тем относительно спокойным и довольственным существованием, какое доставляли ему подачки графа Каллаша. Эти старые привычки тянули его на свою сторону, заставляли по-прежнему простаивать, купно с Макридой и Касьянчиком, на паперти Сенного Спаса, корчить из себя юродивого, таскаться по перекусочным да по разным трущобам, сговариваться с Гречкой об убийстве ростовщика Морденки и, наконец, ни с того ни с сего, ради одной только привычки, украсть при выходе от всеношной бумажник купца Толстопятого — обстоятельство, как известно, доведшее его до «дядина дома», из коего освобожден он благодаря лишь ходатайству великосветской сердобольницы. Тут уж именно действовала одна только «натура», одни лишь привычные инстинкты, и больше ничего.

По выходе из тюрьмы, живя в богадельне, он наведывался к графу Каллашу, но — увы! — банк темных бумажек не приносил еще никаких положительных результатов. Доктор Катцель все еще делал опыты, достигая разных усовершенствований, изготовлял пробные ассигнации, но... эти ассигнации все еще не подходили к искомому идеалу. Хотя каждая новая проба значительно приближалась к нему, однако до тех пор, пока этот заветный идеал не удовлетворен в совершенстве, доктор Катцель не решался выпустить ни одного экземпляра из своей лаборатории. Он упорно боролся с нетерпением своих сотоварищей, особенно же с Каллашем; дело доходило до крупных и горячих разговоров, и все-таки в конце концов настаивал на своем, и те ему уступали.

— Если уж делать, то делать так, чтобы это было достойно порядочного человека! — убеждал он их в минуты подобных споров. — Иначе возьмите вашего Фомку, и пускай он, а не я, занимается в этой лаборатории! Грубых подделок и без того довольно гуляет по свету, а я хочу сделать так, чтобы потом, в случае печального исхода, мне, ученому-химику, не пришлось бы краснеть за свое изделие и за свое знание. Для вас же будет лучше, — говорил он, — если потом вы сами не отличите их от настоящих: тогда мы будем свободно и смело являться с ними хотя бы в государственный банк, для размена!

Этот энергический жар и уверенность, с которыми приводил доктор свои доказательства, и это совершенствование, замечавшееся в кредитках после каждого нового опыта, убеждали членов в справедливости его слов и доводов, так что они единодушно решались ждать того времени, когда наконец труды и усилия обер-фабриканта увенчаются полным успехом.

Приходилось ждать и Фомушке, хотя он и не был посвящен в эти споры и успехи доктора. Но столь долгое ожидание погоды, сидя у моря, начинало уже немножко надоедать ему. «Видно, дело непутевое, и надо так полагать, что ничего из него не вытрясется! Ничего клевого не выйдет!» — стал иногда подумывать Фомушка с кислой улыбкой сомнения, близкого к полному разочарованию.

LXVI

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА — ПОСЛЕДНЯЯ МЫСЛЬ

Когда в обыкновенной тюремной «мышеловке» арестантку привезли с Конной площади обратно в тюрьму, она была уже очень слаба и едва-едва лишь на ногах держалась.

Минуты, пережитые ею в последнее утро, казалось, совокупили в себе все те страдания, которые перенесла она со времени первой катастрофы до того мгновенья, пока дверца фургона не скрыла ее наконец от тысячи глаз любопытной толпы. Но ко всему, что в течение долгого времени накопилось в груди этой женщины, путешествие на Конную площадь надбавило теперь последнюю гирию, которую уже не в состоянии был выдержать организм ее. Нервическое потрясение оказалось столь велико, что из тюремной канторы Бероеву прямо отправили в лазарет, который для женщин помещается в верхнем этаже их «дядиной дачи».

Вскоре у нее начался значительный упадок сил и с каждым часом все шел прогрессивнее. Сознание, впрочем, ни на минуту не покидало больную — рассудок ее был совершенно ясен.

Пришел доктор, пощупал пульс и весьма сомнительно покачал головою.

— Ну что?.. Как? — спросила его тут же у постели лазаретная надзирательница.

— Да что... Очень плохо.

Бероева открыла глаза и жадно старалась ловить полушепот этих людей.

— Но все-таки есть надежда? — спросила надзирательница.

— Мм... нда, пожалуй... однако очень мало.

— Вы полагаете, стало быть, что умрет?

— Нда... мне кажется, не вынесет... Упадок сил чересчур уж велик.

— Да и как быстро наступил-то он!.. И все сильнее, все сильнее ведь!

— Это-то и скверно.

— Что ж тут делать теперь?

— Ну, пропишем что-нибудь... посмотрим... может быть... только едва ли...

Бероева слышала кое-что из этого разговора — об остальном она догадалась, и сердце ее сжалось тоской и холодом. Смерть... она не думала, чтобы смерть была так близка... она не чувствовала и не ждала ее. Смерть! — и эта мысль испугала больную.

Мысли ее стали мешаться, путаться, в ушах зазвенел какой-то смутный шум, глаза смыкаются невольно, как бы под обаянием неодолимой дремоты, и наконец наступает какое-то сладкое, дурманящее забытие.

Сын Эскулапа, для успокоения совести, прописал какое-то снадобье, с которым часа полтора спустя сиделка подошла к постели Бероевой и растолкала спящую.

Та с усилием открыла глаза. Пробуждение от этого сна показалось ей тяжким и сопровождалось тем нудящим ощущением тошноты, которое подымается в груди перед обмороком, а иногда в первые мгновенья после него.

— Лекарство прими, — предложила сиделка-арестантка.

— Не надо... — слабо проговорила больная, которую от этого чувства дурноты еще более клонило ко сну: организм просил полного успокоения.

— Да все ж таки прими, моя милая, ведь дохтур приказал, — убеждала сиделка, продолжая тревожить ее расталкиванием.

— После... — чуть слышно ответила Бероева.

— Да как же так?.. Я, право, не знаю... я надзирательницу кликну — пушай она сама, как знает.

— Оставьте Христа ради... дайте мне покой.

— Да ведь приказано!

Встретя столь настойчивое сопротивление, Бероева нервно, хотя весьма слабо, заметалась на своей койке. Это требование только сильнее раздражало ее, производя конвульсивно-лихорадочные содрогания во всем теле.

— Бога в тебе нет, что ли! — укоризненно накинута на сиделку несколько больных арестанток. — Не видишь разве! Все равно помрет... Оставьте ты ее, не мучь напоследок — уж и без того ей вдосталь пришлось сегодня... совсем помирает ведь.

Общая укоризна действовала: сиделка, поставив склянку на стол, отошла от постели.

Но зловеще в ушах Бероевой раздалось слова арестанток:

— Все равно помрет... совсем помирает.

Ужасная мысль о близости смерти снова мелькнула в ее уме пугающим призраком, и на этот раз больная решилась собрать все скудные силы, какими владела в эту минуту.

— Мавру Кузьминишну... голубушка, Мавру Кузьминишну, — слабо пролепетала она, обратив молящий взор к своей лазаретной соседке, лежавшей на рядом стоящей койке, — Бога ради, Мавру Кузьминишну! — умоляющим стоном повторила она.

И через несколько минут надзирательница уже держала ее холодеющие руки.

— Мавра Кузьминишна... тут у меня в ладанке, на шее... вы знаете... вместе с крестом старинный рубль зашит... старинный рубль... от дочери... Снимите с меня...

Старушка исполнила ее желание, и Бероева слабою рукою поднесла к губам свою заветную память. На глазах ее появились слезы.

— Бедные мои дети! — горько прошептала она, продолжительное прильнув к этой ладанке. — Не увижу больше...

Мавра Кузьминишна и больная соседка поддерживали слегка ее голову. Остальные внимательно и в каком-то благоговейном молчании следили со своих кроватей за этою грустною сценою.

— Я умру, говорят они... Нет... Боже мой, нет!.. Неужели... Смерть... Но... если я умру, — продолжала больная, в борьбе с этой мыслью, тихо взяв руку надзирательницы, — напишите к родным — вы знаете куда... Жив ли он, и что с ним... Если он жив — муж мой — пускай ему скажут, что я и в последнюю минуту о нем да о детях несчастных поминала... Он любит нас. А тем, врагам нашим... Бог с ними! Я прощаю им... Пусть и он простит...

И новые слезы полились из глаз умирающей.

— Теперь моя последняя просьба... последнее желание... Бога ради, сделайте это... Для умирающего человека можно, — продолжала она, подняв на старушку молящие взоры. — Это каприз, но... в нем теперь все, что осталось мне дорого от прошлого... Этот рубль — подарок дочери моей, — я не хочу с ним расстаться. Умоляю вас! Не откажите моей последней воле!.. Положите его со мною в гроб... Вы сделаете это. Дайте мне слово!..

Мавра Кузьминишна пообещалась, и на лице умирающей, словно тихая тень весеннего облака, легла светлая, довольная улыбка.

— Благодарю вас... — прошептала она, — благодарю... Теперь я умру спокойнее... Не уходите от меня... Будьте хоть вы со мною — все же легче как-то: не одна хоть буду в последнюю минуту... Сядьте здесь... поближе...

Старушка села подле нее и все держала ее руки так нежно и любовно, как могла бы разве одна только мать держать своего умирающего ребенка.

Но зато, после стольких усилий, после минутного напряжения стольких нравственных и физических способностей, которыми сопровождалась эта сцена, организм Бероевой совсем уже истощилась, и начался окончательный упадок сил...

Она слабо дышала, лежа навзничь на своей постели. Глаза были закрыты, пульс едва уже бился, и рука, сжимавшая у груди заветную ладанку, холодела все более. Через полчаса это состояние почти незаметно перешло в какой-то ооченелый сон, так что ни пульса, ни дыхания уже не было слышно.

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Слабее, слабее становится тело — с каждой секундой силы угасают все больше. За минуту Бероева могла еще двинуть по своей воле рукой или пальцем, теперь ей уже трудно сделать это: она не может даже шелохнуть ни единым суставом, да ей и не хочется, она чувствует, что ей было бы болезненно-трудно шевельнуть чем-нибудь. Как хорошо лежать ей теперь неподвижно в этом расслабляющем оцепенении! словно бы великая лень разлилась по всему телу, по всем суставам и жилам и держит ее под своим обаянием. «Ах, кабы не будили! Ах, кабы они оставили меня!» — смутно промелькнуло в голове Бероевой, так смутно, как иногда в ярко-солнечный день мелькнет на прибрежном чистом песке тень от крыла пролетевшей птицы. Но ее не будят, она как будто чувствует, что руку ее держит чья-то другая, дружелюбная рука — это была рука Мавры Кузьминишны, — ее не будят, и она довольна, она рада этому: ей так хорошо лежать в этом забытии, сковывающем тело.

Глаза смыкаются все больше и больше, и, пока они совсем еще не сомкнулись, Бероева, будто сквозь голубоватый туман, почти бессознательно и бледно различает около себя какие-то фигуры — не то это люди, не то деревья. Фигуры эти мелькают и рябят перед ее глазами, как рябят иногда печатные строчки у человека, засыпающего над книгой.

Но вот голубоватый свет тумана перешел в какой-то мгlistосерый, и фигуры исчезли...

Вместо них появляются новые ощущения.

Тяжко-сладкая дремота долит и долит все сильнее, и уже нет того сознания, которое за минуту еще мелькало в ее уме, выражаясь желанием, чтобы ее оставили в этом покое и не будили больше. Теперь уже нет никакого сознания окружающей действительности, потому что на месте его появилось сознание каких-то призрачных грез и ощущений.

В ушах раздается неопределенный шум. Какой это шум? Не то тысячи колоколов гудят во тьме... Кремль и московские соборы в полночь, во время Христовой заутрени... гудят и звонят все сильнее, все ближе — гул и звон со всех сторон охватывают Бероеву. Боже мой, какой это ужасный, какой нестерпимый звон!.. А в глазах, в глазах-то — что за дивный свет ударяет в них сверху! Это яркое солнце ослепительно, нестерпимо режет глаза своим колючим блеском. Целые снопы золотых, бриллиантовых лучей отовсюду, мириадами кидаются в глаза и жгут, и слепят их собою.

Не то звуки плохого, расстроенного фортепиано раздаются в ушах — словно по клавишам без толку и смыслу ударяет чья-то неверная, детская рука, не то грохот барабанов раздается, шум и крики толпы; а в глазах колесами ходят и сплетаются между собою,

будто в дивной фантазмагории, какие-то огненные круги, играющие всеми цветами радуги, и эти круги являются в разных размерах — большие и малые, а между ними, на темном фоне, дождем падают, сыплются, и скачут, и прыгают, и выются, и кружатся мириады светлых точек, бриллиантовых искорок, снежинок. Радуги налетают на нее со всех сторон, с непостижимой быстротою сливаются вокруг ее тела, опоясывают ее сверкающим обручем — и она лежит вся в огне, вся в блеске и треске, под нескончаемым дождем светлых искорок, в нескончаемом шуме и звоне каких-то странных голосов, каких-то диких инструментов.

Но вот стихают этот блеск и шум, становясь все глуше и глуше... Теперь уже будто не барабаны, не колокола и не голоса толпы, а словно бы шум и кипение бесконечного моря. И это не море, а целый океан шипит, волнуется и клубится. Холодно. Плеск волн все тише и слабее — будто она, заснувшая, медленно и плавно опускается на дно морское. Тусклый свет едва-едва проникает своими слабыми, преломляющимися лучами сквозь холодные массы воды — и это именно подводный свет, с зеленоватым отливом... Большие, безобразные рыбы медленно двигаются в безднах океана, тихо раскрывая и смыкая свои страшные пасти, машут плавательными перьями и смотрят на утонувшую своими холодно-стеклянными, неподвижными глазами. Она опускается все глубже и глубже, и чем глубже, тем все холоднее становится ей. И вот этот водяной холод равномерно разливается по всем членам ее тела. Наконец она совсем уже опустилась на дно морское — навзничь лежит недвижимо и не чувствует больше холода; здесь уже нет ей ни холода, ни теплоты, а есть только одно оцепенение. Рыбы тоже исчезли, и тусклый зеленоватый-подводный свет улетучился кверху.

Наступили мрак и тишина — полнейшая тишина и мертвенное спокойствие. Прошло несколько долгих минут среди такого ничем не возмущенного состояния.

— Кажись, умерла, — вдруг послышался оцепеневшей Бероевой шепотливый голос Мавры Кузьминишны, и показалось ей, будто в этом голосе был легкий оттенок испуга.

— Надо быть, умерла, — шепотом же ответил голос больной соседки.

Несколько арестанток тихо, осторожную походкою, в своих серых халатах, подошли к Бероевой и долго, с чувством немого благоговения, которое всегда бывает инстинктивно присуще человеку перед одром только что отошедшего брата, глядели в строго спокойное синевато-бледное лицо умершей.

— Умерла... — невольно промолвили некоторые из них, и это слово точно так же, как и полусшепот Мавры Кузьминишны, достигло до слуха Бероевой.

«Умерла?.. Как умерла? Что это они говорят?» — мелькнуло в ее слабом сознании, которое, вместе с наступившей тишиной и

мраком, мало-помалу начало снова возвращаться к ней. Но с возвратом внутреннего сознания к ней не воротилась способность проявить его внешними признаками: звуком, взглядом, движением. Физические силы совсем оставили это мертво-неподвижное тело.

«Что это вы говорите?! Я жива! Жива! Поглядите — вот!»

Бероевой в ее исключительном положении показалось, будто она не только произнесла, но даже громко выкрикнула эти слова, и ей хотелось, всеми силами своего слабого сознания хотелось выкрикнуть их громче, чтобы разуверить окружающих в своей мнимой смерти. Но странно: окружающие как будто и не слышали ее слов — они продолжали относиться к ней, как к мертвой.

— Надо бы позвать надзирательницу да доктора — пушай поглядят, — вполголоса предложила сиделка и на цыпочках вышла из комнаты.

«Ну вот! Слава Богу! Доктор придет... Он увидит, он разуверит их», — прокрался у Бероевой луч надежды.

Пришел доктор, взглянул на застывшую женщину, приподнял ей большим пальцем веко и в тусклый глаз заглянул, затем пощупал пульс и кивнул головой: готово, мол!

— Умерла? — спросила его Мавра Кузьминишна.

— Конечно. Разве вы не видите?

«Да нет же! Нет!.. Я жива!.. Я слышу!..» — силилась закричать Бероева, и снова показалось ей, будто она действительно крикнула. Но нет, не слышат... Хочет она хоть чем-нибудь подать знак им о присутствии в ней жизни, хочет приподнять опущенные веки — и не может поднять их; силится шевельнуть пальцем — безжизненные мускулы не поддаются невероятно-упорным усилиям ее воли, а между тем она все ясней начинает слышать движение окружающей ее жизни, даже отдельные людские голоса различает, сознавая, когда и что говорит доктор и когда Мавра Кузьминишна.

При этом в ней поднялось то смутное невыносимо-тяжкое чувство, которое наплывает на грудь и голову человека во время сонного кошмара.

«Да это сон, это кошмар, — думает Бероева, — он сейчас кончится, только сразу никак не могу проснуться... этого ничего нет, это все только снится мне».

Но кошмар не проходит, и, несмотря на все усилия воли, проснуться она не может.

— Накройте ее и уберите койку, да в контору дайте знать о смерти, — распорядился доктор, удаляясь из комнаты, ибо засим ему уже нечего было делать в лазарете.

— Как быть-то? Ведь по закону, кажись, нельзя класть к покойнику в гроб драгоценные вещи? — с озабоченной сомнительностью обратилась старушка к бывшей соседке Бероевой.

Мнимоумершая расслышала и эти последние слова. «Неужели она не положит? Неужели не исполнит моей просьбы?»

— Так то ж, это ведь не бральянт какой, а просто-напросто старая денга — чай, сами слышали! — подумавши, возразила арестантка. — Опять же последняя воля — просила-то ведь как!.. Слезно просила!.. Ведь грех не сделать-то!

— То-то, что грех, — со вздохом согласилась Мавра Кузьминишна. — Это на совести будет... Боюсь только, от начальства чего бы не вышло, если узнают... Ну, да уж что об этом думать, коли по христианству должно исполнить! — махнула она рукою. — Последняя воля — великое дело.

Бероева во внутреннем сознании своем просветлела от последних слов старушки.

Если бы воля ее повиновалась ей, то на лице ее отразилась бы улыбка самой искренней, самой теплой благодарности, но теперь лицо осталось мертво и безвыразительно.

И вскоре после этого Бероева, хотя и чересчур слабо, однако ощутила-таки, как ее всю — от головы до ног — покрыли чистою простынею и как два солдата подняли ее вместе с койкой и понесли из больничной палаты.

Арестантка Катя Балыкова, та самая, которой Бероева иногда писала письма к ее Осипу Гречке, проведая теперь о смерти Юлии Николаевны, слезно обратилась к Мавре Кузьминишне допустить ее обмыть покойницу. «Хоть этим-то отблагодарить за душевность ее!» — прибавила она в пояснение своего желания. Надзирательница согласилась и вместе с Катей сама обмыла, сама одела Бероеву и, разжав ее пальцы, вынула из руки ладанку и надела ей на шею, под смертную арестантскую рубаху.

После того тело, до следующего дня, вынесли в мертвецкую.

Близится ночь. Покойница лежит на столе в тюремной мертвецкой, покрытая все тою же чистою простынею. Перед образом мерцает лампада, в головах у нее восковая свечка теплится и кидает на стену поперечную тень от лежащей женщины. Эта тень рисует неправильный профиль головы, бугорок, в том месте, где на груди сложены руки, и острый, выдающийся угол пальцев ног под простынею.

Тихо. Только сверчок уныло и робко цвирикает под половицей, да изредка треснет нагорелая светильня восковой свечки — и монотонно-глухо раздастся внятный голос читальщика Китаренко, который «ради спасения души» выпросился почитать псалтырь над покойницей.

«Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас», — смутно звучится в ушах Бероевой, и в мозгу ее копошится новая тень мысли:

«Над кем это читают?.. Надо мной читают?.. Да, надо мной читают!»

«Со святыми упокой, Христе, душу новопреставившейся рабы твоея Юлии, — продолжает меж тем монотонно тягучий голос псаломщика, — иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

«...Но жизнь бесконечная... Я умерла, — шевельнулась новая мысль в сознании Бероевой. — Смерть... А, так вот она — смерть!.. Я не вижу, не двигаюсь, но я слышу... Умерло тело, душа жива... «Но жизнь бесконечная...» Сознание, значит, останется: оно — жизнь бесконечная. Страшно. Но это теперь, пока я на земле, пока меня люди окружают, а дальше-то что же?»

«Земный убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси создавый мя и рекый ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще: песнь аллилуия».

«Но дальше, что же дальше-то будет? — неотвязно замелькала перед мнимоумершей все та же пытливая, ужасающая мысль. — Теперь я слышу жизнь, а когда закопают в могилу — там уже нечего будет слышать... Какие звуки там, под землею?.. Сознание осталось.... А когда тело сгниет и кости истлеют? Тогда же что?»

«Чудны дела твои, и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от тебе, юже сотворил еси в тайне», — звучит голос читальщика; а ночь меж тем растет и расстилается над неугомным городом.

Порою будто туман непроницаемо заложит голову Бероевой и одолевает ее какое-то обморочное, мертвенное состояние, слух притупится, и мысль застынет; но потом опять начинают раздаваться в ушах какие-то неясные звуки, которых нельзя еще различить; однако из этих самых звуков через несколько времени начинают выделяться слова, из слов целые фразы читаемой псалтыри, и смутное сознание снова пробуждается, и ясно вырастает в нем роковой вопрос: «Что же дальше будет?» — пока и мысль, и слух опять не погаснут в новом наплыве каких-то призрачных грез, тающих под конец в этом обморочном, всепоглощающем тумане.

LXVIII

ТЮРЕМНЫЕ ВЕСТИ И НОВОСТИ

Тюремные новости разносятся необыкновенно быстро. Это своего рода телеграф, в котором, впрочем, электрическая проволока и все другие аппараты весьма успешно заменяются одним только языком. В тюрьме, среди одуряющего однообразия жизни, каждое приключение — вроде того, что две арестантки за что-нибудь подрались или один арестант сташил у другого рубаху — считается уже новостью, которая тотчас передается на другие этажи и отделения. Оно и понятно: хотя драка или местное воровство — явление самое обыкновенное в подобной среде, но все же и они в тюрьме

отчасти выдаются из скучно-монотонного уровня скучнейшей жизни, где один день ни на йоту не отличается от другого, где завтра тянется, как вчера, а вчера — как сегодня, и так целые недели, месяцы и даже годы. При этих условиях — понятное дело — такое обстоятельство, на которое в иной обстановке никто из заключенных и малейшего внимания не обратил бы — «не плюнул бы», как говорят они, здесь уже приобретает своего рода важность, значение новости или приключения и, как новость, разносится по всем камерам с достодождливою быстротою.

Утром этого дня новость заключалась в отправке Бероевой на площадь: «К Смольному затылком на фортушке покатали марушку¹ одну с дядиной дачи», — передавали арестанты друг другу; а к вечеру всеобщую новостью для тюрьмы стала внезапная смерть этой самой марушки, и рассказ о том, как умирала и что говорила, что делала при этом арестантка, быстро перелетал из уст в уста, с вариациями, дополнениями и изменениями. Каждый присовокуплял к нему, что хотел, по своему личному вкусу и соображению: лазаретная сиделка передала придвернице, придверница стряпухам и прачкам, те разнесли по женским камерам, а женщины, в свою очередь, передали мужчинам.

Есть в тюрьме один пункт, в котором деревянная стена отгораживает мужское отделение от женского. Этот пункт и служит главной станцией устных депеш от мужчин к женщинам и обратно. У всех почти заключенных, которые имеют свои тюремные платонические романы, условлены известные часы для свиданий с дамами сердца. Лица не видно, зато голос можно хорошо слышать, стало быть, есть возможность разговаривать. Точно такой же условный час свидания существует и у Гречки с арестанткой Катей Балыковой.

— Что у вас, помер кто-то, слышно? — спросил голос Гречки.

— Ах, уж и не говори!.. Такое это у меня горе!.. Ведь самая душевная моя, любимая моя померла-то! — востосковалась Катя Балыкова. — Сколько раз, бывало, попросишь письмо к тебе написать — никогда отказа не было.

И арестантка со всеми подробностями, насколько сама знала, передала ему рассказ о последних минутах Бероевой.

— Ты говоришь, деньги приказала положить с собою? — очень серьезно и тихо спросил Гречка видимо изменившимся голосом.

— Ах, уж так-то просила... Со слезами, говорят... Это, мол, самая заветная вещь моя, приказывала им, ни за что, мол, расстаться с нею не желаю.

— Гм... И ты не врешь, что сама видела, как оно в ладанке зашито?

— Зачем врать, своими глазами видела. Потому, что я очинно

¹ *Маруха* — женщина. *Марушка* — уменьшительное и отчасти ласкательное изменение того же слова, что-то вроде молодки или бабенки.